

3—4 октября 1993 — эпизод или Рубикон?

1. Текущая жизнь как будто склоняет считать случившееся год назад "эпизодом". О том, сколько убыло на тот свет, легко забывают, тем более что каждый день множит число жертв насилия, разнообразие форм которого камуфлирует их общность — планетарный призыв к убийству. Танковый расстрел парламента в столице ядерной державы не омрачает ныне сознание: что он в сравнении с житейскими бедами, захватившими человеческие миллионы? Кажется, нет уже и особого смысла напоминать о ближайших политических следствиях той крови, того шока и страха, какие (вкуче с краткостью сроков, воспрепятствовавших осмыслению случившегося) срежиссировали декабрьские (93-го) выборы и введение президентской Конституции. Избиратель тогда повел себя непредсказуемо, хотя на свой лад логично — не сказал "нет" авторитарному замыслу и отказал в триумфе либеральным поборникам режима. Явился новый парламент, какой поспешно было бы считать чистым суррогатом, хотя его законодательная абортивность и политическая неустойчивость режут глаз. Все, так или иначе, утряслось, но именно — *так или иначе...*

Потому сегодня и безнравственно и непродуктивно сетовать на "избыточную" жестокость октябрьского противоборства, полагая, что такого же результата одержавшая верх сторона могла бы добиться с меньшими человеческими потерями. Исследование требует опознать сам этот *результат*, подвергая испытанию нашу способность вобрать в поле зрения не один лишь отрезок маршрута, ведущего от исторических могил к современным, а весь этот путь, идя как бы обратным ходом к истокам, которые "подбирают" соответствующий повод, дабы обнародовать свою неисчерпаемость.

В свете сроков, измеряемых уже десятилетиями, приходишь к выводу, что мы застряли на перегоне между *безвременьем* и *междувременьем*; первое притягивает на противостоющее постоянное, тогда как второе становится все более призрачным. Если то,

что происходит, допустимо считать переходом, тогда к чему именно мы "переходим" и от чего (имея в виду не только календарные даты и не ограничивая себя в обсуждении этой кровной темы лишь российскими пределами)? Неясность ответов не убывает, а нарастает и, быть может, как раз этой нарастающей неясностью и подтверждается, что московская трагедия *не эпизодом была, а Рубиконом*.

Ежели он перейден, значит ли это, что возврата нет и все мы обречены отныне на движение от этой, и только этой отсчетной точки?

2. Как у всякого события, у Октября 93-го есть и своя родословная, и непосредственный пролог. Последний легче расположить во времени. Самое ближнее преддверие — указ за номером 1400, но он, в свою очередь, заключительное звено в цепи многократных "репетиций", в устроители которых рвались (поочередно и вместе) как президентская власть, так и законодательная. Важно, разумеется, не кто в каждом случае первым сказал "э", а в чем состояла подоплека конфликта, оказавшегося неразрешимым мирными средствами. Преобладала ли проблематика власти, как таковой, жажда неограниченного верховенства, либо она все же была вторичной и из вторичной уже перешагивала в доминирующую, а в основе лежал раскол, вызванный "шоковым" приступом (январь 92-го) к радикальному экономическому и социальному преобразованию со всеми взрывными последствиями, отсюда проистекшими.

Или все-таки и то и другое — лишь наружность первопричины, а сама она коренится в том, что жизнью выдвинуто как потребность действия, без которого невозможно избежать тотальной катастрофы, и вместе с тем как препятствие к этому же действию, притом расположенное не вне человека, а внутри него. Переводя эту метафизическую тираду на язык, внятный грешной действительности, мы могли бы в сжатом виде сформулировать следующую исходную позицию. Она гласит, что все в нашем доме — наш социум власти, наши "вертикальные" и "горизонтальные" связи и столкновения — представляют собою оборванный *результат* одного из самых великих и страшных опытов переделки обстоятельств и человека. Результат — запоздало оборванный и одновременно обладающий гигантской инерцией, более того — недооцененной энергией воспроизведения себя в формах, будто от него отличных и ему решительно противостоящих.

Еще прозаичней, как говорится, "ближе к делу": хотим мы того или не хотим, мы являемся наследниками *жизненного строя*, который нельзя перевести в принципиально иное состояние, оставаясь в его пределах. Выход же за пределы и затруднен, и запрещен. Затруднен беспрецедентностью. Запрещен же опасностью детонировать Мир — в приступе ли отчаяния и ярости, либо ненароком, в любом варианте несдерживаемой ломки. (Вот почему понятия "революция" и "реформа" в равной мере проблематичны в нашем случае, впрочем, как и понятия "капитализм" и "социализм", каждое из которых исторически определило и затем не раз переопределяло друг друга; исчезновение одного ставит под сомнение жизнеположенность другого...)

Я обрываю на этом сюжет, которого не раз касался, в том числе на прошлогодней сессии интерцентровского симпозиума. Сказанным выше я только хотел очертить конфигурацию нашего тупика (или современной "проблемной материи"), при этом не помышляя ни о

формуле безоговорочного обвинения в адрес одних, ни об индугенции, предназначенной другим. Из того, что все мы, так или иначе, находимся где-то совсем близко к клинической смерти, следует: если даже избежим мы летального исхода, нет возможности "просто" выздороветь. Мы вынуждены перенацаться, оставаясь при принятых *здесь* представлениях о том, что "хорошо" и что "плохо". Сепаратистский миф? Плюралистический беспредел? Не исключаю и эти беды. Но выбор-то у нас не из предпочтений, а из погибельных альтернатив. Да и что значит "сепаратизм", как не эволюции показанное *иное*? И что миросокрушительного в шпоралистической заявке и страсти, если крайности ее укротит вселенский минимум, планетарная триада: договором обозначенное (и надежно обеспеченное) табу на убийство; взаимно разработанная и взаимно осуществляемая страховка от космических и иных (неподвластных человеку и от человека исходящих) напастей; а также общий, в справедливых пропорциях формируемый и расходимый фонд развития, который ориентирован будет на изживание всякой монополии и на поощрение повсюду творимых состязательных различий?!

И это все имеет отношение к России, пережившей Октябрь 93-го? Безусловно. А в доказательствах — суммарная негативность происшедшего тогда, касается ли это употребления силы или помыслов, превративших обезлюдивающее насилие в последний, если не единственный аргумент.

3. Сделаем шаг или два назад — к декабрю и августу 91-го. Бездарная авантюра ГКЧП подвела черту под целой "перестроечной" полосой, обнажив несовпадение и даже несовместимость ее побудительных мотивов. Стремительный выход из наиболее опасных и разорительных распорядков "холодной войны", а также спонтанное развитие гласности (которая, служа инструментом поддержки лидерской группы в верхах, росла в сторону самостоятельного выражения разноречивых интересов) возвращали к той коллизии *второго шага*, которая в свое время исчерпала миссию Никиты Хрущева. Путь от анти-Сталина к не-Сталину оказался забаррикадированным не только призраками "добраго старого времени" и поразительной хрущевской неразборчивостью в людях. Не меньшей препоной был самообман реанимированной целью. Скоропостижный коммунизм лишь внешне походил на утопию. Лишенный порыва, способного заново соединить людей, вкусивших от свободной разобщенности, он, однако, парадоксально ускорил селекцию и протестантов, и расчетливых карьеристов. Под покровом половинчатой десталинизации зрели грозди домашней "холодной войны". Уже Новочеркасск был более чем рядовым сигналом*.

Брежневская пауза усугубила названную коллизию как своим милитаристским упоением, так и схваткою с пробужденной совестью. Диссидентство "заикнулось" альтернативой. Однако *предмет преобразования оставался "вещью в себе"*.

Восьмидесятые обнаружили это с силой, воспрещающей долгое откладывание решений и поисков. Неудивительно, что решения опережали во времени, но не сутью, что, само по себе, не могло не

* Подробнее об этом в моем тексте "От анти-Сталина к не-Сталину непройденный путь" — В кн. Осмыслить культ Сталина М, 1989

порождать конфликтной ситуации. Но на сей раз — по крайней мере, в срединной фазе "перестройки" — исход поединка определялся уже не "телефонными" приговорами инакомыслящим, а в формах *неравного диалога*. На кремлевском холме по-прежнему высчитывали следующий шаг головами и голосами членов Политбюро, а новобранцы обновления пытались откорректировать этот процесс самоорганизующимся публичным давлением. Задним числом это несложно представить фарсом. Можно добавить: фарсом, предшествовавшим трагедии, а не вторившим ей. Не стану опровергать, отмечу лишь: если оно так, то вписывается не в один лишь наш отечественный хронотоп. Тут и прямо и косвенно замешан Мир.

За драматическим отказом "одной шестой" от презумпции всемирного лидерства с неизбежностью должна была измениться политическая геометрия планеты, ее мысленный образ, как и мысленный образ уже не географической, но еще не "бытийной" Евразии. К этому, похоже, не был готов никто. А жить в семантической дыре становилось и неудобно, и небезопасно. В обиходе, правда, коллизия нового "второго шага" выглядела достаточно чересполосной. Распрямившийся человек искал собственного, ему принадлежащего поприща. Далеко продвинутая приватизация власти пробивала один за другим лазы наружу и жаждала быть дополненной и узаконенной посредством приватизации собственности. Политика, лишенная заготовок, давала осечку за осечкой.

Удерживать перестроечное коромысло в равновесии становилось все менее возможным, а нарушить его казалось лидеру все более опасным, и не только потому, что он сам родом из номенклатуры. Такое объяснение — плоское и все-таки несправедливое. Главная причина горбачевской "замороженности" глубже и анонимнее. Она в отторжении планетарным телом, имя которому Российская ли империя, или Советский Союз, завязей гражданского общества. Не просто признать: общество протяженностью от Чопа и Бреста, Мурманска и Смоленска до Тихого океана — нереализуемо. И потому не об *обществе* должна бы идти речь, а об *обществах*. Об их сложной архитектурной связи, отвечающей (былым и вновь намечающимся) цивилизационным различиям (этнокультурные несоответствия лишь одна из ипостасей этого).

Сознавал ли Горбачев, что в поисках способов преодоления наследственной унификации требуется переосмыслить всю "перестроечную" программу, не исключая ни одного из ее аспектов? Либо не сознавал, либо слишком поздно к этому пришел. Пришел, оставляя в тылу своем погромы, провокации, исторжения "пришлых", аукающиеся с позывами к национальному самостоянию и с ругинным консерватизмом "региональных" номенклатур. Армию, упротребляемую в угоду политике, скрывающей свои намерения, если только она их имела. Обессиленная себя дезертирством ответственности, Горбачев заражал этим и своих прежних, и потенциальных союзников. Чем шире становилось пространство бедствия, тем уже круг дееспособных реформаторов. Так обозначенная выше ситуация неравного диалога, продуктивная при всех перепадах ее, перерастала в незримое заложничество, поздно обнаруженное, многими не признаваемое по сей день. Да и легко ли опознать в себе новой выпечки "вечно вчерашних"?

Август 91-го по сей день хранит некую тайну, замкнутую в треугольнике: Горбачев — сиятельные заговорщики — Ельцин. Каждая из сторон имела в виду других и давала им определенный шанс. Треугольник разомкнули неподвижные танки и людской выплеск на улицы. Гекачеписты были, само собой, политическими второгодниками, и если они не собирались пролить кровь в Москве, то трудно усомниться, что им или тем, в чьи руки перешла бы власть от них, "пришлось" бы массировать насилие ради удержания *Союза* в традиционном виде. Открытый вопрос: могла ли российская многонациональная демократия решить судьбу СССР без распада? По всему последующему видно, что нет. Ее *завтра* было сквано вчерашними преданиями и насилиями. Да к тому же она была просто слаба, и эту слабость в громадной степени питали эйфория и самообман — ей, столичной протодемократии привидевшегося торжества в августовской схватке.

Победа та — родила победителей. Победители те — сотворили Октябрь 93-го.

4. Характерная черта поставгустовской и постдекабрьской ситуации — несоответствие реалиям России и Мира. Реванш не грозил — по крайней мере, в обозримой перспективе. Правда, Олимп стал более тесным (для "форосского узника" места не нашлось). Перетасовка в лицах диктовала свое и смене вех. В определенном смысле ход вещей повернул отчасти к хрущевскому финалу, отчасти и к сталинскому (если, разумеется, не подменять допустимые ассоциации банальностью аналогий). Сталина забрала смерть накануне его последней попытки заявить свою *абсолютную необходимость посредством абсолютной экстремы обстоятельств* (на сей раз выходя за пределы послеялтинского Мира и на пороге ядерного выравнивания с заокеанской демократией и заокеанским антикоммунизмом). У этого внешнего обвода была внутренняя начинка. Плагиат "окончательного решения" соседствовал с тривиальным замыслом верхушечной чистки, а паранойя — с предчувствием даже не перемены в человеке, а чего-то большего, неуловимого, ему, Иосифу Джугашвили, недоступного, делавшего его всемогуществом призрачным и бессмысленным.

Посткарибский Хрущев был, конечно же, скромнее и в явном, и в сокрытом. Он подспудно отступал к Человеку, но грешному, обыкновенному, бессознательно противящемуся любым изменениям, приходящим извне. Пассивность, с которой Никита Хрущев встретил свое выдворение, — не от истощения властью и не от одной лишь прикованности к ритуалам "партийного единства"; она видится мне своего рода возвратом в детство, в существование, не требующее доказательств права на это. (Впрочем, может, таковым он стал уже в отставке, разглядывая Мир вокруг сквозь щели дачного забора.)

Два таких разных и вместе с тем в чем-то родственных финала... Они — и Москва после 21 августа (91-го), торжествующий Ельцин в Кремле, он же на сессии российского Верховного Совета, прерывающий речь Горбачева, чтобы, не сходя с места, подписать указ о прекращении деятельности КПСС, он же, спустя несколько месяцев, застрельщик-ликвидатор в Беловежской пуще (Б.Е.: "Я хорошо помню, как пришло ощущение какой-то свободы...") — что это: связь,

нераздельность между тем, что когда-то ушло в рбрыв, даже не в запасник, и тем, что "случилось" спустя, декорированное внешними признаками начала? Да есть ли тут истинное преемство либо всего лишь фата-моргана, что причудилась мне в нарастающем ощущении бреда совместно нами импровизируемого существования?

"Я считаю, что XX век закончился 19—21 августа 1991 года"*.

Это не мои слова, а Бориса Ельцина. Можно бы приписать их изготовителю мемуарного текста, но, сдается, авторский дух здесь несомненен и передан с афористической точностью. В самом деле — разве век, не завершившись, не окончился досрочно? Дата, конечно, спорна. Весьма возможно, что у каждого она своя. Для Ельцина — Ельциным в названные им дни начался XXI в., Третье тысячелетие. Личное торжество? Нежданный Олимп? *Mania grandiose*? Даже если не без того, сводить лишь к этому одному фелъетонное балагурство? Все неизмеримо серьезнее. Ибо (прав Президент) в августовской неразберихе и скоротечной ломке былых регалий и ритуалов на карте Мира (если угодно, в мироздании) заявила Россия. Фикция, называемая "РСФСР", одним ударом перешла в реальность. Реальность страны? Больше. Реальность империи? Меньше, — и не та Тогда что же?

Предмет "перестройки" с этого времени обрел широтную плоть, оставаясь все также "вещью в себе". Прежний субъект обновления исчез, обнаруживши, что он и не был *субъектом*. И Хрущев, и даже Горбачев знали, кого они представляют: всех, наперед ограниченных немногими. Теперь — иначе. Иерархия не исчезла, но дал глубочайшую, до фундамента, трещину иерархизма. Правда, это не враз обнаружилось. Захват кабинетов, дележка освободившихся мест заполняли будни самозванной элиты. Но наличествовало и одно персонализированное обстоятельство, являвшееся как гарантом для этой элиты, так и обременяющим ее грузом.

Таким "обстоятельством" был Ельцин. Уверенный (и с каждым днем все больше), что он олицетворяет собою всех, кто в совокупности Россия. Потребовалось не слишком много времени, чтобы выяснилось, что *всех* означает *никого*; что он, и именно в этом смысле, начал верховное правление с того, чем подытоживались в своей земной жизни Хрущев и Сталин, обнаружив каждый по своему, что человек смертен и уже по сему только не укладывается ни в одну, самую "идеально" задуманную общественную систему. Я понимаю, что спорно и что на столь отдаленном расстоянии, которое не сокращает даже телевизор, легко впасть в заблуждение, обнаруживая в нынешнем Президенте, в его выходящих наружу свойствах, причудливое соединение инфантилизма опального Хрущева с мизантропической доминантой "обобщенного" Сталина. Если же я все-таки настаиваю на этом, то в силу убеждения, что путь Ельцина к убийству (1993—1994—1995) не был однозначным и что, как каждый из нас, он не родился на свет убийцей.

Неприменимы к нему в отдельности ни стигмы "вождя", ни великокняжьи бармы. Об авторитарности же его говорить в будущем времени можно, лишь закрывши глаза на факты, растущие в прогрессии, и не столько благодаря толчкам извне, сколько в силу заложенного в нем и в обстоятельствах — в нем и в них, —

* Ельцин Б Н Записки президента М, 1994

сошедшихся и уже неразлучных. Естественный и нелепый, он вычитываем из неадаптированного русского фольклора, но уместен и за столом "большой семерки" (ибо для них не ужиться с Россией близко к тому, чтобы погибнуть). Его доступно в одно и то же время считать как сугубо временным, так и необратимо "вечным". Таким и иным, летописным листом или листком отрывного календаря. Все зависит от человека-невидимки, величиной с новорожденную Россию, что замкнута в себе при обнаженных и кровоточащих границах. На каком языке станет изъясняться этот непробирный гомункулус, когда всерьез разнемеет?

5. "Если говорить грубо, чтобы выбить человека из Кремля — для этого нужен как минимум новый ГКЧП. Кремль — символ устойчивости, долготы и прочности проводимой политической линии. И если эта линия — реформы, то реформы и будут моей государственной линией".

"Власть может рухнуть только сама собой".

Заветные мысли, лежащие где-то в глубине непредсказуемых ельцинских деяний. Как бы свободно ни дышалось ему после августа—декабря 91-го, он вынужден был поступать с оглядкой на прошлое. Не рвался повторять и заимствовать, но от впитанного с детских лет целеполагания высвободиться не мог — ни сам, ни с помощью своего "мозгового треста". Выход был по видимости прост и доступен. Не было нужды заглядывать в Оруэлла. Требовалось лишь одним махом превратить в манифестируемый позитив глобальность отрицания — обанкротившихся идеалов и живучих институтов. Подобно тому как люди моего поколения некогда собирались обустроить всесветный социум в виде трех "без" (без классов, без денег, без государства), так и духоведцам ельцинского "завтра" оно представлялось в виде родного дома, в считанные дни освободившегося и от коммунизма, уже не только "казарменного" (впрочем, понималось теперь, что иным он быть не может), и от Советов, изначально обреченных на самовольство черни и местничество большевистских Сквозник-Дмухоновских. Ни того, ни тех! Раз и навсегда! Это ли не революция? Какая же по счету после февраля 1917-го?

Однако в простоте самоновейшего разрыва скрывалась извечная каверза. Во многих ликах — ностальгическая, реваншистская, рваческая, разбойная. Каверза, которой помехою — закон, право, миролюбие, взаимная выручка. Каверза "простора отсутствия" (как именовал родимый недруг Александр Герцен). Каверза, направленная против человека, заявившего своим призванием подытожить столетие, и в нем же, в этом человеке, нашедшая непокорно-послушного рекрута.

Безраздельно господствующий Кремль, Кремль-залог, в воображении его нынешнего хозяина предстал сызнова осажденной крепостью, и было бы несправедливым считать это только галлюцинацией. Хотя Ельцину вряд ли грезятся штурмовые колонны шахтеров и бедствующих пенсионеров либо заговорщики, подобные тем, какие два века назад прервали ирреальное царствование Павла I, но у него есть и оппоненты-отрицатели, а сверх них — и анонимный противник, который, по всему видно, опаснее прочих. Это — *без-предметность* власти, или, вернее, властвующая *пустота*, которая пытается заполнить самое себя посредством импровизаций, авторизирующих злобу дня. В предельном, критическом случае — любую. (Если это и попу-

лизм, то с перевернутым знаком. Если это и опережение, то таящее в себе нечто, что философия XX в. именует "инволюцией" — *обратным развитием*: движением к однородности и принудительному единообразию, противоположностям жизни.)

Ельцин достаточно точно определил маршрут своих забот и тревог. "Прочный Кремль" — в изголовьи. А если для прочности окажутся потребны реформы, то они "и будут моей государственной линией". Разумеется, не было ничего предопределенного в призыве на *реформаторскую производную Кремля* Егора Гайдара, Анатолия Чубайса со товарищи. О "макроэкономике" Президент, вероятнее всего, узнал уже от них. Но трудно отрицать обнаружившееся в этом альянсе сродство душ. Режим, главная забота которого перманентное авторство, незатрудненно вобрал в себя доктринальный замысел, направленный на то, чтобы одним сокрушительным ударом выбить человеческую толщу из колодок рутинного псевдоэкономического поведения, препоручив последующее рыночной стихии. Гайдар (в одном из устных выступлений) с великолепной образностью раскрыл суть этого замысла, сказав, что создатели его стремились достичь "ничейной земли": обетованного пространства, на котором затеплилась бы предприимчивость, поначалу все равно какая, пусть самая хищная, беспардонная, асоциальная; чем короче будет срок ее существования, тем достигимее полнокровная жизнь здесь и вокруг, а, стало быть, и полноценная демократия. Допустим, что так. Но время, потребное для сего, не песочные часы. Это поприще, которое может стать "повтором", т.е. веками новоевропейской цивилизации, свернутыми в считанные годы, а может — и разъятым суставом, вправить который окажется способной только безжалостная хирургия власти. Но не исключено и то, что процесс, который "пошел", завязнет в ротациях исходных условий, что повторяемость их востребует не исправлений, а *домонтажа*, а точнее, — вовсе иного, Миру еще неведомого проекта.

Здесь мы вплотную придвинулись к *событию* 3—4 октября 1993-го. Остается лишь спросить себя, оправданны ли его уроками человеческие жертвы?